

Тихо отчаливал старый паром, тихо скользил по сомлевшей на солнце белёсой и сонной реке. Глухо; лишь журчала вода за кормой, всплёскивала, лобзая ржавые борта. Стриженные под нуль колхозные призывники протяжно и томительно глядели с парома на уплывающий берег, где белели шиферными крышами избы и амбары села Покровка, где печально замерли отцы и матери, друзья и подруги... Парни стояли, не шелохнувшись, уже стриженные “под Котовского” и в боевом строю, словно приросли к дощатому настилу, боясь спугнуть ощущение последних судорожных объятий, лёгкий запах девичьих волос, волну дыхания на щеках...

Рядом с призывниками русокосая и голубоглазая баба в цветастом полупшалке, оплывающем на плечи, в цветастом сарафане, отчего была похожа на васильковое и ромашковое поле. Среди парней-призывников... среди их любви и печали от недавней разлуки... в далёкое далёко увозил тихий паром чудную бабёнку, сидящую на чемодане. Сонный покой в её лице, щекастом, веснушчатом, в глазах, думно иль бездумно обмерших, безбрежных, безмятежных, как томное, знойное небо; и лишь колыхала пухлые губы блажная улыбка, когда косилась на призывника — сухой, долговязый, каланча, — что, опустив вихрастую голову, печально глядел на русую косу и молча сжи-

мал девичьи ладошки. Убережёт ли косу?.. Не расплетёт ли?.. Парень на три года во флот идёт... А дева, что алый цветок, на который и летит мотылёк...

Паромный народ, узрев робкую парочку, утих; затаилась, задумалась и полуденная серебристая река, бережно, абы не расплескать любовь, несущая паром с парнями-призывниками, что томительно глядят на девчонок, оставленных на берегу... А мне, усталому бродяге, развеявшему любовь на шальных городских ветрах, вдруг помянулась скорбная частушка; её пели отчаянные девахи на армейских проводинах:

*Милый в армию поехал,  
Не оставил ничего,  
Только лёгонький поминочек —  
Ребёнок от него...*

Ещё помянулось: топал хмельно и раскачисто по узкому и шаткому мосту, повисшему над закатной речкой; вижу: на мостике темнеют два силуэта, и я вкрадчиво, шёпотом шёл мимо чужой любви, стараясь не греметь сапогами, но вдруг, будто и не по своей воле, замер от тоски по юности, спалённой грехом: "...Зачеркнуть бы всю жизнь да сначала начать..."

На чудную бабоньку, что, теребя русую косу, нет-нет, да и гляделась в реку, словно в зеркало, с берега тоскливо взирал мелкий, взъерошенный мужичок; и я, в те дальние восьмидесятые бродячий репортёр, был насыпан про их любовь и разлуку. В деревне же как: у околицы чихнул, посреди посёлка "будь здоров" говорят; и ещё, бывало, не успеет синичка воркнуть, а про неё уже, как про соловушку, поют. Так и про эту забавную супружескую пару изрядно соткалось сплетен...

И полинявшая на солнце дремотная река, и паром с призывниками, и чудная бабонька со своим мужиком привиделись, когда вспомнил потешную кинокартину, кою видел в давние лета; и вся ныне запечатлённая любовная история вышла столь созвучна киношной.

Аграфена Павловна, вдовуха-вековуха, бывшая школьная литераторша, приютившая меня, домосливая и довоображая, поведала... Может, как вдова, шила широки рукава, было б куда класть небывлые слова...

Клавдия Щеглова, в девках Полоротова, родилась и выросла в глухой таёжной деревушке; в городе выучилась на библиотекарю и была послана в село Покровка обращать здешний речной народец в книгоцеев. Чтoб не одни школьники да служащие, но и мужики, и парни почитывали книги, грели душу не водкой, по прозвищу "сучок", а повестями Пушкина, Гоголя, Лескова и Шмелёва. Три зимы и три лета библиотекарша, так её звали на селе, жила в светёлке у Аграфены Павловны... та ютилась в запечной каморе... а выйдя замуж, Клавдия укочевала к мужу в его родовое гнездо. Лет уж пять отжили, правда, чада не нажили, и вдруг мужняя жёнка по уши втрескалась в учителя литературы. И учитель, белокурый, по-отрочески ладный, зоревое ател, нервно потирал очки, когда Клавдия, широкая, словно речной паром, покачиваясь на незримых волнах, плыла по библиотеке, и ветром носило девку к учителю, который вечерами читал толстые журналы без картинок и выписывал в амбарную книгу мудрые мысли.

Долго ли, коротко ли, стали голубки ворковать вечерами, беседовать об искусстве; и однажды учитель, когда остались с глазу на глаз, повеличал Клавдию Моной Лизой кисти художника Леонардо да Винчи. Тут Клавдия и ошалела, хотя поправила учителя: дескать, на Мону Лизу смахивает доярка Дуса Машанова, а она — толстопятая замоскворецкая купчиха, что сошла с Кустодиевского холста.

И всё же учительские речи сладостно встревожили Клавдию... баба — горшок, что ни влей, всё кипит... и, будучи в районном селе, спросила в книжной лавке "Мону Лизу"...

— Разобрали "Мону Лизу", девушка, — развела руками пожилая торговка.

— Разобрали... — печально, но понятно вздохнула Клавдия и подумала: "Моны Лизы" сроду не залёживаются..." — А "купчихи" Кустодиева есть?..

— “Купчихи”-то есть в заначке... хотя и на “купчих” нынче большой спрос... — ответила торговка, приволокла репродукцию в резной золочёной раме и пояснила: — “Красавица”, Кустодиев...

Оглядела Клавдия нагую, обильную красу — русую косу, но постеснялась брать, хотя, пожалев торговку, что волокла из чулана тяжёлую картину, и чтобы внести хоть малую лепту в торговую выручку, взяла картину Васнецова, где Иван-царевич, обняв царевну Елену, скачет на Сером Волке сквозь угрюмую, дремучую тайгу. Клавдии померещилось: Иван-царевич похож на школьного учителя, а ежели бы с русой бородкой, то смахивал бы и на красавца-жениха, что перед венчанием в храме держал невесту за бледную, яко свеча, сухонькую ручку, ожидаючи глядя на алтарь, откуда должен явиться батюшка. Обручение и венчание Клавдия узрела, словно чудо, в далёком студенчестве, когда вешним ветром занесло деваху в храм, чудом не порушенный в зловещую хрущёвскую “оттепель”. Ночами... спала она теперь порознь с мужем, в горнице, на тахте... а ино и посередь дня блазнилось грешной: она и учитель замерли пред святым аналоем и ждут, когда батюшка нанижет золотые кольца на их персты и возложит венцы на их счастливые головушки...

\* \* \*

Когда сосны атели в закатном зареве, покровский народец видел: чудная парочка... баран да ярочка... за околицей бродят, а может, и блудят; а бобылка божилась, что Кланька по давнишней дружбе поведала о роковой страсти: мол, однажды не удержалась и поцеловала учителя в губы, а парень испуганно шатнулся: “Что вы творите, Клавдия Ивановна?! Я же вас люблю платонически...” “Это чо, через плетень?..” — заржали бы деревенские мужики, словно жеребцы застоялые.

Саня Щеглов, муж Клавдии, знатный деревенский плотник, как и водится у мужей, последний поведал о том, что баба его хвостом вертит; и когда лоб зачесался... видно, рога режутся... поинтересовался:

— Ну, что, Полоротова... — в сердцах Саня обзывал бабу девичьей фамилией, — на мужиков потянуло?! Романов начиталась, прекрасна кобыла савраса?!

Клавдия, в отличие от иных библиотекарей, любила читать; в избе, бывало, ни убору-ни прибору, мужик голодный, а баба посиживает с книгой возле окна и на Санино ворчание ухом не ведёт. Махнёт Саня рукой, напялит фартук и самолично жарит, парит, а надо, так и бельишко постирает в машинке. Проведав о сём, Санины родичи осудили невестку: мать, жалеючи сына, плакала, отец велел чаще поколачивать Кланьку, а баба Ксюша горько пожалела, что присушила девку малиновым вареньем, над коим шептала любовную присушку. И до умопомрачения начиталась Клавдия любовных историй, коими избы-читальни кишмя кишели, и даже осилила куртуазный роман о рыцаре Тристане и принцессе Изольде, отчего легко пала на душу и трагедия, после которой сельская книговец иногда печально и певуче шептала: “...Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте...” — при сём вздыхала, как вздыхают коровы, тоскливо пережёвывая сухую солому, поминая летнее разноцветье-разнотравье, где кружил породистый бычок.

...Канет четверть века, и, поминая сладостные страдания, Клавдия, детская баба, услышит потеху, поведанную здешним батюшкой, отцом Евгением, гостившим в итальянском городе Верона, что ославился любово-страстием Ромео Монтекки и Джульетты Капулетти.

...Туристы, коли без Бога и царя в пустозвонной башке, оказавшись подле статуи... собачушка, кошурка, дойная корова, скаковой жеребец... загадав желание, исподтишка ли, откровенно ли, потрут где нос, где хвост... В Вероне же, пробившись к статуе Джульетты, трут её бронзовую грудь, тьмою рук вышарканную до серебристого блеска, при сём с пеной на губах бормочут заклинания; и благо... благо, что рядом нет Ромео, а то и Ромео бы потёрли...

Волновалась Клавдия, читая любово­страстные романы, а уж как дошла до блудных рассказов Ивана Бунина, то и вовсе ошалела от блажных мечтаний, правда, всякий раз краснела, словно юная гимназистка, когда писатель откровенно живописал тёмный, мимоходный блуд, что есть смертный грех, и по­ходил бы на грубые звериные случки, кабы не столь нежный стиль изложения.

Блуждая в любовных историях, воображая себя Изольдой, Джульеттой, бедной Лизой, тур­геньевской девицей, бунинской Русей либо иной дамой сердца, воспетой любово­страстными певцами, Клавдия пыталась вообразить Тристаном или иным рыцарем своего приземистого, косолапого мужа, но вы­ходило горько и смешно: Саня — рыцарь?.. Кого смешить?! И теперь, слу­шая школьного учителя — вот рыцарь сердца!.. — Клавдия гадала: каким шалым ветром занесло её, высокую, статную, с институтским “поплавком”\*, в жёны к недомерку Сане Щеглову?.. Вроде, полюбила плотника за его лю­бовь и думала, через год понравится...

Прознав бабьи шалости, Саня решил сор из свежесрубленной избы не выносить, а под лавку копить; мыслил укрыть бабий грех, а Бог ему два про­стит, но в деревне на виду даже помыслы, обросшие домьсами; в деревне добрая слава лежнем лежит, худая, как ветер, летит. С другого края села приметелила баба Ксюша, не то молодуху осрамить, не то супругов прими­рить, но Саня не пустил старуху даже в ограду. И отца, с которым плотни­чал, осадил, когда тот завёл было речь о Клавдии...

Мужнин грех за порогом живёт, а жена грех в избы несёт, вот жизнь из­бьяная и пошла кувырком: если и раньше изба неделями не знала убору и при­бору, не славилась красными углами и печёными пирогами, то ныне и вовсе обеспризорилась. Верно молвлено, бабьи умы разоряют дома... Саня, любя, как душу, решил потрясти бабу, как грушу: подбив для храбрости, кинулся было на Клавдию с кулаками, но, будучи на голову ниже и впо­ловину уже, словно башкой о скалу ударился и откатился. Но... бил дед жабу, грозясь на бабу: Саня в сердцах саданул стаканом по зеркалу, где маячила его злая ба­гровая рожа.

И решил было учителя за хохол да об стол: нагрязнул, когда паренёк, за­ломив русую головушку, обморочно запахнув глаза телячьими ресницами, то­ковал посреди избы, словно тетеря посреди ельника:

*Я помню чудное мгновенье,  
Передо мной явилась ты,  
Как мимолетное виденье,  
Как гений чистой красоты...*

В сие чудное мгновенье и явился хмельной и злой Саня.

— Воркуете, блудодеи?! — прохрипел плотник и, хотя от горшка пол­вершка, чёрной тучей пошёл на учителя, но тот, не ведая страха, лишь по­правил очёчки в тонкой, золотистой оправе и возмущённо спросил:

— Блудодеи?..

— А кто же вы?! Кто она, ежели при живом-то муже...

— Да как вы смеете такое говорить?!

Бесстрашие учителя смутило Саню, сбило боевой азарт, а учитель пуще наседа­л:

— Да как вы могли такое подумать о Клавдии Ивановне?! Как вы мог­ли целомудренную женщину повинить в таком страшном грехе?! Нет, вы не­достойны своей жены!.. Вы же варвар... Я на месте Клавдии Ивановны по­кинул бы такого самодура и уехал бы из вашего дикого села...

\* \* \*

Вскоре литератор укатил из дикого села в умный город; поступил в аспирантуру и поселился в аспирантском общежитии; а Клавдия, истосковав­шись по учителю, рванула в Иркутск на поиски любви. Саня, скрипя зубами,

\* “Поплавок” — нагрудный значок о высшем образовании.

спирился, хотя стонала и плакала душа, о чём мужик и мне печалился, когда, уюмстившись на плешивом бревне, пили мы однажды приторно-сладкий портвейн “Три семёрки” и глядели в потаённо тёмную, мятежно спящую речку, устало вздыхающую и бормочущую спросонья.

По-деревенски неспразднй — плотницкая бригада детские ясли рублила — ершистый мужичок, словно высоко спиленный скорбный пенъ, долго торчал на берегу, глядя на уплывающий паром любви; и слёзы туманили взгляд, и вольный речной ветер трепал полы его клетчатой рубахи навывпуск. Пять лет прожили, хотя дитя и не нажили, но любовь его не полиняла, не износилась, разве что, упрятавшись поглубже, стала несуетливой и невыпяченной. Суетливой и смешной она стала потом, от слепого отчаянья.

А на тихом пароме, похрипев прокуренной глоткой, откашлявшись, запел незримый мужик, и потянул песнь неожиданно ясным, распевным голосом, и над маревной рекой, над становым левым берегом со скалистым крутояром и правым берегом с пойменными лугами и кочкастым калтусом широко и вольно закружилась русская песнь:

*Ты лети от Волги до Урала,  
Песня журавлиная моя...  
Какая ж песня без баяна?  
Какая ж зорька без росы?  
Какая Марья без Ивана?  
Какая Волга без Руси?*

С улыбкой помянула Клавдия: сумерничают, бывало, на крыльце, и Саня, отмашисто играя на гармонии, оглашает двор и черёмуховый палисад журавлиной песней, а донев, обнимет суженицу, отведёт от уха русую прядь-завлекалочку и прошепчет: “Песня журавлиная моя...”

Но, воистину, счастье без ума — дырявая сума. Деревенские мужики и бабы, что постаивали на речном яру, дивились дураку, когда Саня провожал срамную жену к другому и даже чемодан волок до парома. Помешили народ Саня с Кланей: мужики зубоскалили, сплетенные бабы мыли косточки непутёвой семейке, благочестивые бабы жалостливо вздыхали, сварливые старухи плевали, глядя, как Щегловы по витой козьей тропе спускаются с крутояра к речному парому, а богомольные старухи осеяли крестом их души: прости, Господи, не ведают, что творят...

Горькая тишь повисла над речным яром. Это какое же странное сердце у мужика, коли провожал жену к другому, коли во имя любви, а может, неясной, как “бегущая по волнам”, грешной блажи, поступилась своей намоленной любовью и даже мужицким чувством собственности?! “Лишь бы ты, Кланя, счастлива была... Тогда и я буду счастлив...” — Саня, словами не облачённо, в душе убеждал лобастого учителя: хоть мы и лапотные простецы, пропахшие дёгтем и потом, а тоже можем любить и нежно, и свято. Могла же Клавдия, усевшись на бережку и глядя в лениво текущую речку, блажить о чём-то, что не испробовать на вкус, — не хариус же копчёный, что не учуять и на оцупь — не из сельской же лавки; и любовь светилась от блажной бабы, застывшей в улыбочивом любовании миром и ожидании “чего-то такого” неясного, но красивого...

А на пароме иссякла, испелась “журавлиная” песнь, и — соль на Саняну рану... — довоенный певчий Вадим Козин завёл отчаянно печальное:

*Веселья час и боль разлуки  
Готов делить с тобой всегда,  
Давай пожмём друг другу руки —  
И в дальний путь на долгие года...*

\* \* \*

Скользил паром по затаённой реке, и Клавдия, уюмстившись на чемодане, вглядывалась в берег, где остался Саня, и томительно долгой причальной волной нахлынули воспоминания...

Клавдия в душевном укроме гордилась, что полгода дружили и лишь потом поцеловались; да разве и поцеловались?! Улучил Саня момент: закат на речке провожали, и зазноба, сидя на лысом бревне, блаженно укрыла глаза пушистыми белёсыми ресницами, тут Саня торопливо и поцеловал. И отпрянул испуганно: рука тяжёлая, даст по шее — с бревна слетишь.

Полгода парень, изнывая от нежности, пытаясь поцеловать, провожал Клаву до Аграфены Павловны, пожилой и одинокой учительницы, в избе которой приезжая библиотекарша снимала угол; полгода парень после кино и танцев отшивал деревенских ухарей, что волками рыскали, коршунами кружили вокруг библиотекарши. Вроде, не из красоты... Полноватая, мешковатая, конопатая, вроде ржаной каравай... А влекло к ней парней; бывало, глянет синё и ласково, смущённо улыбнётся, и блазнится дуралею: однако, паря, глаз на меня положила и вроде тревожно дышит, когда я в библиотеку вхожу... Но ухари боялись Саню: хотя и метр с кепкой — щелчком зашибёшь! — да вот беда: коли с отроческих лет топором машет, то и по башке махнёт — долго не очухаешься. Да к сему ещё и пограничник, приёмами владеет, на арапа да голыми руками не возьмёшь; вот парни, позарившись на библиотекаршу, повздыхав, и отступались. Побаивались и Клаву: вроде на обличку и простоватая, а другой раз из книжки такое загнёт — на кривой кобыле не объедешь. К сему Клания вроде лишь Саню и привечала, хотя и венца не обещала.

Полгода плотник вечерами торчал в библиотеке, пас Клаву; сперва листал журналы с картинками, нет-нет да и со вздохом косясь на библиотекаря в короткой юбке, и та однажды усмехнулась: “Что ты, Саня, всё “Мурзилку” да “Крокодил” листаешь?! Взял бы книжку добрую да почитал...” “Можно и почитать, ежели добрую-то книгу, — согласился парень, — а то я читал лишь книжку про деда Фишку...” “Георгий Марков сочинил...” — пояснила Клава и, ласково глянув в Санины глаза, так улыбнулась, что у парня голова пошла кругом. С той поры Саня журналы полистает, а как приспееет время запирает избу-читальню, возьмёт книгу под запись; и на другой день сдаст и другую просит. Клава пригрозила: “Буду содержание спрашивать, потом выдавать...” Порезже стал ходить, лишь когда прочтёт хоть белго, наискось, чтобы промямлить, о чём речь в книге.

Позже, когда мы посиживали с плотником на берегу, тот со смехом вспоминал: “У меня кореш в парикмахершу влюбился и волосы кажно утро поливал из лейки, чтоб шибче росли. Малость отрастут — бежит стричься... Я кореша спрашиваю: “А ежели бы влюбился в Люську-медсестру, кажин день бы штаны спускал, чтоб она тебе в стегно укол ставила?.. А коли влюбился бы в Аду... самогоном из-под полы торгует... дак и спился бы на пару с Адой...” А не ведал я, братка, что и сам вляпаюсь, буду книги читать. Зимой, когда работы мало, дак дённо и ночью... А меня же за литературу из школы исключали. Ага... Учительша... вредная баба... пристала с ножом к горлу: перескажи про любовь Андрия к полячке. Помнишь “Тараса Бульбу”?.. Вот училка и говорит: перескажи да перескажи... Ага, буду я пересказывать, как сучка с кобелем снюхались... А та упёрлась: перескажи да перескажи, иначе на второй год оставлю, — она у нас классная была. И довела меня до белого каления: веришь, хрестоматию швырнул в лицо... Исключили бы, да мать все школьные пороги оббила, ноги до колен стёрла; и директоршу просила, и училку умоляла... Директорша сжалилась, на второй год оставила... С тех пор, братка, возненавидел я литературу, глаза б на её не глядели... А тут на тебе, читаю книжку за книжкой... В мастерских мужики, коли работы нету, в домино играют, “козла” забивают либо исподтишка выпивают, а я с книжкой сижу. Смеются, холеры: мол, книгочей, уж в доску зачитался, весь исчитался, да как бы не зачитался... Вот, братка, любовь до чего довела — книги читал. Даки и привадились, и теперь на сон грядущий почитываю. Шукшина Василия люблю... Читал?.. Ловко там Шукшин про плотника завернул: помнишь, тот гостил у сына с невесткой, а те смотрели телевизор, а в телевизоре артист... плотника играл... топор по-дурацки держит; видно, сроду в руках не держал, а вроде матёрый плотник. Ага... Короче, сосновый кряж чешет... Кого там чешет!.. Измывается над

бедной древесиной... и над ремеслом плотницким... И враньё же выходит... А плотник шибко не любил враньё, снял сапог и зафитил в телевизор, брызги полетели...”

Да, почитывал Саня книжечки, а ночами, когда добрые люди спят, сочинял стихи... Вот до чего Клава парня довела, палил по девке куплетами дулетом... И даже избранный стих мне поведал, когда мы вечеряли на речном яру, заворожённо следя за теплоходом, что тихо сплавлялся по реке.

*Я не ждал и не гадал,  
Что, бродя полями,  
От любви безответной  
Зарыдаю с журавлями...*

*Упаду в траву  
У речной излуки.  
Неужели, Клава, нам  
Светит лишь разлука?..*

*Журавли летят высоко,  
Долог их полёт,  
Клава рядом, видит око,  
Ну, а зуб неймёт...*

Я сроду не сочинял стихов возлюбленным, не вымучивал куплеты, но, ёрник смолоду, скоморошничал: “О Муза моя!.. Муза Абрамовна!.. Посвящаю вам своё бессмертное творение: “Ветка сирени упала на грудь, милая Муза... Даша, Маша, Саша, Глаша... меня не забудь...”

Начитавшись до одури, беспрокло пытаясь овладеть крепостью — так Саня в сердцах обозвал неприступную библиотекаршу — парень бился, колотился, Покров прошёл, а всё не женился; и порешил отступиться. Да и ба-тя, тоже пожизненный плотник, ворчал, когда за ужином с устатку пригубили по стакану красного вина:

— Саня, запрягай дровню, иши себе ровню. Ты, паря, на кого зарись-ся?! Ты на кого зарись-ся, аршин с шапкой? Кланька ж тебя на голову выше, а уж про ширь и говорить некого. Заспит ишо спросонья, как малого титёшника... Куда тебе, куль с костями!.. Бегашь, бренчишь... А вроде жорный: жор нападёт, дак и полбарана зараз уметёшь. Но, видно, не в коня овёс... А потом, Кланька же, Саня, образованная, а у тебя, паря, грамотёшки — кот наплакал, семь классов да два колидора... Да и то в шарашке\*... Кланька в избе-читальне заправлят, а ты же, паря, однако, и “Муму” до конца не дочитал... Оно, конечно, не будь грамотен, а будь памятен... Но это, паря, раньше, а теперича же без грамоты и шагу не ступи...

Тут встряла и Санина мать, нравом тихая, за малый рост прозванная Махоней:

— А потом она же, Саня, приезжа, мы же путём не знаем, какой у девки характер...

— Во-во, — согласился отец, — может, в поле ветер, в заде дым... Деды же говорили: не заламывай рябину не вызревшу; не сватай девку, не вызнавши... Жениться не напасть, да как бы после не пропасть... Вон старшой женился, а теперича чо говорит?.. А то говорит: лишь после женитьбы, тятя, я понял, что такое счастье, но... было уже поздно... Купил дуду на свою беду: стал дуть — слёзы идут... Так что, Саня, брава Маша, да не наша. Отступись, паря...

— Не переживай, сына, — мать уже всхлипывала, обиженно поджимала губы и часто, жалобно моргала от нахлынувших слёз, — не переживай, суженая и на печи найдёт...

— Найдё-от... — кивнул отец и вспомнил, — я твою мамку на печи и нашарил. За трубу, махоня, закатилась, едва клюкой выгреб...

\* Шарашка — так дразнили ШРМ (Школа рабочей молодёжи).

Мать потаённо улыбнулась, вроде помолодела лицом и ласково глянула на отца.

А баба Ксюша, бойкая старуха, вместе с дедом Фомой доживающая век у сына, печалась за горького внука, что беспрокло сох на корню, сухостойно звенел на речном ветру; и однажды, когда сын с невесткой отлучились из дома, а дед возле окна чинил ветхие ичиги\*, старуха поманила внука в запечный куток:

— Надо, внучек, присушить девку. Да... От, Шура, крынка с малиновым вареньем; сейчас мы её заговорим, а ты, Шура, опосля Кланьке подсунешь: мол, гостинец от бабы Ксюши. Она чаю-то с вареньицем попьёт, у ей душа огнём и запалится. Ага... Ладно, я буду сказывать, а ты втори за мной... — И баба Ксюша забормотала древлую присушку: — Во имя Отца и Сына, и Святого Духа!.. — старуха обметнулась мелким крестом, глядя на божницу. — Ты не молчи, как дундук; ты повторяй, повторяй, раз девку хошь завлечь!.. Стану я, раб Божий Александр, благословясь, пойду, перекрестясь, из избы дверями, из двора воротами, выйду в чистое поле; в чистом поле стоит изба, в избе из угла в угол лежит доска, на доске лежит тоска. Я той тоске, раб Божий Александр, велю: поди, тоска, навались на красную девицу, в ясные очи, в чёрные брови, в ретивое сердце, в кровь горячую по мне, рабе Божиим Александре... Вот, Шура, и вся присуха. А теперича ляг опочинься, ни о чём не кручинься...

Дед Фома в сердцах воткнул крючок в сыромять, перекрестился и сухо сплонул:

— Тьфу!.. С ума сдурела!.. Погладил бы тебя мутовкой\*\* по дурной башке, дак мутовку жалко, обломишь... Ты кого, старуха, наговаривашь?! Ты какого ляда\*\*\* с присухой лезешь?! Крешшонная, поди, а беса тешишь... По-божески, по-русски, дак посвататься бы... Вот возьмём, да и пойдём, сватаем девку...

Саня вообразил, как воскресным летним вечером, побрившись, наодеколонившись и нарядившись, потащатся они с дедом Фомой сватать девку, как деревенские посмеются вслед, как Аграфена Павловна, у которой Клава квартировала, по-учительски сурово обзовёт их пережитками феодализма и вытурит взащей. Вообразив неминуемый позор, Саня досадливо отмахнулся от старика:

— Кого-то выдумывашь, дед... курам на смех. Свататься... Кто теперь сватается?! Сиди уж, без тебя обойдусь...

— Ага, обойдёшься... — опять досадливо сплонул дед Фома. — Ноги до колен споркашь и ничо не выходишь. Ему, как доброму, а он ишо и шеперится...

— Ладно, дед, успокойся, не гони пургу...

Баба Ксюша вышла хитрее деда Фомы: завернула в избу-читальню — эдак раньше старуха звала библиотеку, — где исподтишка и сунула избачке заговорённую малину, а Клава при встрече со старухой похвалила варенье: до чего же сладкое, язык проглотишь.

А Саня справно посещал библиотеку... Возвращая очередную книгу, онемевший от любви, твердил: "Не-е, Клава, я не отступлюсь... А пойдёшь под венец, век буду на руках таскать и пылинки сдувать; слова поперёк не скажу, ничем не попрекну..." Парень видел радость супружеской жизни лишь в дарении, а какое бы счастье привалило, коли и суженая бы молилась: стану богоданному ноги мыть и омытки пить, побреду за милым хоть на край света, не посетую на холод и голод, лишь бы в жёны взял. Но Кланя ничего не обещала, и малиновое варенье не присушило девку к Сане.

Но, как говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло... Уж и руки опустелись... Клава о ту пору с улыбочкой косилась на кудрявого и бравого приезжего баяниста... Уж и собирался Саня махнуть рукой на Кланю, поискать ровню, чтоб запрячь в дровни, уж и в деревне, глядя на печального

\* Ичиги — мягкие сапоги из сыромятной кожи.

\*\* Мутовка — нечто подобное деревянной лопатке для взбивания масла, для замеса теста.

\*\*\* Ляд (луд) — бес.



Саню, сочувственно посмеивались: дескать, прошла любовь, завяли помидоры, но ошибались суесловы.

Илился малиновым соком месяц жатвы, взошёл месяц пылающих зорь; и хотя бабье лето, от Семёна-летопроводца и до Воздвиженья Креста дарящее тихое остатнее тепло, выдалось погожим, осень кралась в леса и луга: вечерами в пойме реки клубились белые туманы, утрами на засыпающих белёсых травах серебрилась паутина, леса укрылись лоскутным рядном... а лоскуты малиновые, жёлтые, бурые, алые, багровые... и всё реже в цветастых лесах слышался птичий грай. Плыли к югу гуси, лебеди, утки и журавли; а на ночь глядя сияли в инее стареющие травы, и селяне, помня, что Семён лето провожает, а бабье лето обряжает, что август — припасиха, запасались на зиму лешевой закуской — грибами, ягодами.

И вот клубные да библиотечные работники и работницы, лёгкие на подъём и на ногу, в Семёнов день, что в изножье бабьего лета, собрались по рыжики и грузди; ладилась в сосновые боры, что в пяти вёрстах от деревни. Старухи, сторожащие село в тени черёмуховых палисадов, охраняющие сельские нравы, сварливо поджимали иссохшие губы, прищуристо глядели на весело и гомонливо топчущих посреди улицы грибников: на двух парней с заплечными берестяными горбовиками, на девок, наряженных, накрашенных, с тальниковыми корзинами. Бравый парень — клубный гармонист, признали бабки, — проходя мимо, манерно, с отмахом руки поклонился старухам: “Здравствуйте, девушки...” “Девушки” опешили, а потом старуха побойчее рассудила: “Однако, ихни домочадцы уже и кадушки\* замочили — грузди-рыжики солить, — завалят грибами... А погляжу на их, дак, однако, не грибы, а ползунику-ягоду пошли сшибать...” Ползунику брат, сшибать — по-деревенски означало: миловаться, целоваться; ежели в супружестве — ладно, а ежели круг раковита куста венчались — блудят. Старухи утихли, задумались: в грибной ватаге четыре безмужних девки и два парня холостых; ладно, Саня — смиренный до девок, по Кланье сохнет, а вот приезжий баянист... прости Господи... этому волно дай — всех подряд огулят, сотона!..

Шли грибники просёлочной дорогой сквозь несжатые ржаные поля, сквозь берёзовые гривы и пели, горланили, вышучивая друг друга; и лишь Саня, приبلудный среди культурного люда, мрачно помалкивал, зло косясь на баяниста, что увивался возле Клавы. Источивши, истомивши душу, Саня рванул вперёд...

Грибники же, миновав покосные луга, дошли до пустыющей заимки, с невольной грустью осмотрели кондово рубленные, обветшавшие стайки, баню, само зимовьё, завозню с телегой, санями, вилами, граблями и прочим инвентарём, со сгнившими пряслами скотного двора. От заимки же в сторону сопку вздымался матёрый сосняк, куда, закусив домашней стряпней, и кинулись заядлые грибники. Уговорились о времени встречи и разбрелись во сосновом бору, переключаясь, изредка встречаясь, и коли в азартную грибную страду время катится с крутой горки, то и не заметили, как усталое солнышко склонило голову к закатной сопке.

Саня, набивая рыжиками и сырыми груздями заплечную берестяную котомку, сперва пасся поблизости от Клавы, помня, что вокруг девы коршун кружит; помня, что однажды баянист со своей сударушкой бродили по основным сопкам, где, ясно море, не грибы шукали, а ползунику брали, и Саня, что о ту пору тоже промышлял лешевы харчи, своими одичавшими глазами видел: где гармонист с зазубой прошёл — сплошные лёжки, и покров до сырой земли изрыт, словно дикий кабан бороздил рылом. Липучий парень, наглый, уж и стыдили-совестили бабы и девки, а тому хоть плшой в глаза — всё божья роса. Стыд не дым, глаза не выест.

Так что, решил Саня, за баянистом глаз да глаз нужен, и ухо остро... У кобеля вечный гон... А перво-наперво — Клаву из вида не выпускать, но вскоре одолел парня грибной азарт, и если по первости высматривал

\* Кадушка (кадка) — невысокая деревянная бочка для засолки рыбы, капусты, грибов, для хранения брусники зимой. Перед использованием кадушки замачивают в горячей воде, чтобы дерево разбухло и закрылись щели.

рыжие семейки под кражистыми соснами, на усеянных хвоей лысых взгорках, то потом оказалось, что рыжики, старые и малые — хоть литовкой коси! — высыпали по краю густого соснового подроста, выбегая на овсяное поле и просёлочную дорогу. Когда напластал грибов в котомку по самое горло, когда уже спустился с хребта на песчаный просёлок, чтобы брести к заимке, вдруг услышал далёкий-далёкий, казалось, плачущий Клавин голос: “Са-а-аш-а-а!.. Са-а-аш-а-а!.. Са-а-аша-а-а!..” Кинув грибную котомку, парень бросился в хребет и через малое время высмотрел: неподалёку катится с хребта баянист; буром прёт, напролом сквозь заросли багульника, будто озверевший кабан, и тревожно заныла Санина душа в лихом предчувствии... Зло взяло, хотел было кинуться за баянистом, но, поразмыслив, махнул рукой.

Отчаянно откликаясь, кружил Саня, метался и вправо, и влево... Клавин голос слабел, терялся, потом вновь оживал в сосновом бору... И, наконец, по вялой, рваной нити голоса парень вышел на горемычную... Откинулась на забородатевшую сизо-голубым мхом сухую валежину, от боли стиснула зубы, подвернула гачу зелёных штанов, стянула походный башмак и, болезненно морщась и жмурясь, растирала впухшую, багрово-лиловую стопу...

Со слов девушки, — а говорила Клава сбивчиво, сквозь слёзы, — Саня доспел: гармонист напугал... По первости, видя, что наглый баянист пасёт её, помня его алчные взгляды, от коих холодела душа, Клава испуганно держалась возле подружки и корила себя, дурёху, что улыбалась шалому парню. Но грибная страда увлекла, Клава забыла о подружке, а когда очнулась, оцепенела: явившись вдруг и рядом, словно из грибной хвои и мха, надвигался баянист, ласково ворковал с блуждающей улыбкой на пухлых губах, и вот уже, раскорячившись, ухватил за плечи и, жарко бормоча в шею, стиснул... Клава смутно помнила, как забилаась, словно глухарка в силках, как вдруг яростно вцепилась когтями в багровое лицо, а потом, когда парень с криком отступил, кинулась бежать сломя голову. И блазнилось: загнанное сердце, готовое вырваться из груди, столь громко стучало, что эхо вторило в затаённом сосняке; и чудилось — позади трещат сучки, слышится одышливое дыхание, хотя баянист, не солоно хлебавши, плюнул девушке вслед, замесив плевок на забористом матюжке, и повалил с хребта.

А Клава, убегая, вскоре и подвернула левую ногу... Угодила ступня меж впухленных сосновых корней, утаённых бурой хвоей... Упала Клава и вольно ли, невольно ли Саню и крикнула. Испуганно окликала и потом, когда, вползши на сухую валежину, стянув рыжий бродячий башмак, потирала полымем горящую стопу. Тут парень и надыбал бедолажную...

Слушал её Саня, и глаза зло узились, зубы скрипели: “Убью гада...” А потом, пав на колени перед девой, бережно взяв её жаркую стопу, оглядел опухшую лодыжку, и, когда Клава, укрыв плачущие глаза, стиснув зубы, застонала, её боль томительно вошла в парня...

А в небесной синеве, над их бедовыми головушками, плыли журавли; курлыкали, ворожа погожее бабье лето, и молодые, забыв боль, вслушались в курлыкание, гадая, что сулит им песня журавлиная: любовь иль разлуку...

Очнувшись, Саня задумался, как лечить девуку... “Помочь бы на тряпку да той тряпкой ногу обмотать, а сверху сухой тряпкой затянуть...” Но постеснялся сказать и вспомнил, что мелькали вдоль просёлка листья мать-и-мачехи: от ушибов и вывихов — первейшее средство.

Хоть девка и ступить не могла на правую ногу, то, опершись на парня, пыталась скакать на здоровой ноге, но куда ускачешь, коли на пути валежины, чувачий багульник и топкий мох?! Взвалив на горбушку, чудом одолев нахлынувшее волнение, Саня поволок охромевшую Клаву и, мелкий перед родной девкой, смеялся, смахивал на муравья, влекущего груз вдвое больше себя. Когда, выбившись из сил, запыхавшись, парень отдышал, невольно, чтоб не упала, бережно обнимал Клаву, объятая высмотрела подруга и, скатившись с хребта на пустую заимку, смехом оповестила девок: мол, девчи, Саньку с Кланькой можно не ждать — обнимаются...

У дороги усадил Саня деву на сухой взгорок, распластал сатиновую рубаху на ленты и, облепив лодыжку листьями мать-и-мачехи, туго замотал

и опять взвалил деву на горбушку, словно крапивный куль, набитый... ох, не сеном; ну, да своя ноша не в тягость.

Хвалились жёнки бабым летом на Семён-день, а того бабы не ведали, что на дворе сентябрь, что весна да осень на пегой кобыле рысят, — погода переменчива: хоть и усталое, старчески вялое, но светило же солнце, а вдруг из-за хребта грянули тучи серыми волками, затмили свет, и заморосил, а затем полил, как из ведра, студёный дождь. А журавли пели погожее бабье лето... И когда Саня с Кланей, одетые по-летнему в суконные куртёшки, дотащились до брошенной заимки, то уже промокли до нитки и так озябли, что зуб на зуб не попадал. Чтобы переждать дождь, мало-мало обсохнуть, завернули в зимовьё, рубленное в кондовую лапу, наспех и на смех, с разнбойно торчащими трещиноватыми торцами. Уже который год пустует зимовьё... Обезлюдела заимка, но чудом выжили двери, окошко, а в самом зимовье чудом сбереглись нары, лавки, стол и кирпичная печь.

Лишь вошли в избу, сквозь окошки нагретую солнечным светом, Клава, которую бил озноб, неволью прижалась к Сане, тут и закружилась у парня голова... Но Бог миловал, не согрешили до венца, вернее, до штампа в паспортах. Вскоре дождь стих, и тугой верховик разметал тучи, бабье солнышко осветило заимку, сосновую хребтину, овсяное поле, и Саня опять взвалил деву на спину, поволок до села, да так под венец и приволок.

\* \* \*

Сболтано ради красного словца — “под венец”; в жизни же вышло так: вырядился Саня в чёрный пиджак и нейлоновую рубаху, а Кланя — в белоснежное подвенечное платье с чужого плеча, но без фаты, и попёрлись молодые в сельсовет, обходя лужи и коровы лепёхи, кланяясь любознательным старухам. Брели мимо Покровской церкви, где вместо куполов сиротливо и печально шатались на ветру чахлые берёзки и осинки, плакали под морозящими осенними дождями. А дед Фома со слезами поминал, как отроком пономарил в сём храме, в честь коего и повеличено село — Покровка; поминал старый пономарь, как сбредались боголюбцы-богомольцы с ближних деревень на престольный праздник — на Покров Царицы Небесной, и Божественная литургия вершилась громогласным и сладкопевным крестным ходом. Дед Фома чтит народную власть: “Не ломали бы церкви, не гнобили народишко крещонный, не трогали б царя, Помазанника Божиего, — цени б не было нынешней власти...”

Возле сельсовета дерзкие мальцы-огольцы осмеяли молодых:

*Жених и невеста  
Поехали по тесту.  
Тесту упало —  
Невеста пропала!..*

Саня, присев, кышкнул ребятишек, и те, вспорхнув воробушками, полетели вдоль по улице. А в сельсовете председатель, весёлый мужичок с лихими, дожелта прокуренными усами удивлённо оглядел пару: паренёк по плечо рослой девахе со спелой косой... И подмигнул Сане: дескать, и как ты, малый, умудрился эдакую каланчу отхватить?! Управиться ли?.. Хотя, ежели сам аршин с малахаем, да жена махоня, вы кого наплодите?.. котят?.. А так оно и порода соблюдётся... Саня, ухватив лукавый мужичий взгляд, нахмурился, и председатель, не пытая рисковую судьбу, отмашисто шлёпнул печатью в паспорта, кудревато расписался и поздравил новоженей.

На свадьбе, что пела и плясала в ограде подле раскидистой белой черёмухи, Саня, широко разваливая гармонь, играл, дед Фома подыгрывал на берёзовых ложках, отец же лихо выводил староказачью песнь:

*...А ей парень отвечал:  
— Будь моей невестой.*

*Верно Богом суждено  
Жить нам с тобой вместе.  
Вот как три денька пройдёт,  
И рука с рукою,  
В храм нас Божий поведут,  
Милая, с тобою.  
И поставят с тобой в ряд  
Пред святым налоем,  
Мы услышим в первый раз  
Знаменье былое.  
В руки кольца нам дадут,  
Свечи со цветами,  
На головушки несут  
Венцы со крестами.  
...И нам причастьице дадут —  
Чашу золотую.  
Я тебя, моя любовь,  
Трижды поцелую...*

Невесте пало на душу песенное венчание, и Клава исподтишка вздыхала, что их свадьба без венчания и даже без серебряных колец, не говоря уж про золотые. Щегловы и сваты их, что прикатили из дремучей деревушки, смогли разориться лишь на свадебное застолье да тихие подарки новоженям.

\* \* \*

Разочарованная сельсоветским бракованием, как смехом говаривали в селе, вспоминала Клава церковное венчание, кое сподобилась узреть в московское гостевание, когда чудным и чудным воскресным ветром занесло её, безбожную студентку, в белокаменный храм, дивом не закрытый властями, по синие купола утаённый сосновыми лапами и берёзовыми гривами от дерзких безбожников.

О Боге, что в книгах уничижённо писался со строчной буквы, Клава ведала по рассказу “Медный крестик” из школьной хрестоматии и по ходовой повести “Чудотворная”, где сочинитель\* намалевал православных чёрным дётём, словно ворота сельской блудни; а из церковной жизни комсомолка знала лишь расхожие присловья: “Кого ты бубнишь, как пономарь?!” — да из Пушкина: “*Поп — толоконный лоб*”, “*Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной*”.

Казалось, и буйные ветры не заметут в храм её, пусть не богохульную, равнодушную к вере, но Клава любила каменное и деревянное благолепие церквей; любила, любовалась и слышала сквозь века ангельское пение с древнего клироса, колокольный звон и лязг мечей... Позже из ветхих книг, пахнущих ладаном и древней пылью монашеских келий, и даже из кинокартин про ранешнюю жизнь Клава вызрела красоту церковных обрядов, и в душе пробудился пока ещё чуть слышный интерес ко Христу Богу. Но в церковь ходить робела — комсомолка же... Да и богомольный народец, что,

---

\* Противохристианская повесть, написанная В. Ф. Тендряковым в годы хрущёвских гонений на церковь. Деревенский парнишка нашёл чудотворную икону, которая считалась бесследно утерянной во время послереволюционных гонений на церковь. Злые православные тут же принялись загонять парнишку в церковь ремнём и подзатыльниками, а он, как и положено юному пионеру, изо всех сил упирался. На подмогу ему приходит атеистка, коммунистка и просто добрая бабушка — учительница из его школы. В советское время повесть постоянно переиздавалась огромными тиражами и широко, настойчиво пропагандировалась, особенно среди школьников. Для младших классов печатался отрывок из повести — “Медный крестик”. В 1960 году по повести был снят художественный фильм “Чудотворная”, активно использовавшийся в борьбе против религии. Позднее автор переработал повесть в пьесу под названием “Без креста”, которая широко ставилась по всей стране; лишь в театре “Современник” пьеса была показана более 800 раз.

казалось ей, воровато шмыгал с паперти в церковный притвор, сплошь тупой и дряхлый, а коль помоложе, то калека либо столь невзрачный, что Бабу Ягу и Кощея Бессмертного мог бы играть без грима. Клаве думалось: эдаким тошнотворно пахнущим тленом и плесенью могильных склепов, эдаким убогим отвержам, что выплеснул мир на обочину, лишь в церквях и утешение, а Клава мечтала о великих комсомольских стройках, о палатках посреди сибирской тайги, о песнях под гитарный звон и сполохи костра, о голубых городах, где юноши и девушки — дети Солнца, дети орлиного племени; мечтала Клава и о возлюбленном, видела его в мятежных девичьих снах: высокий, русоволосый и голубоглазый — лирик либо физик, а случилось, являлись в сновидениях и бородачи — охотоведы, геологи, полярники и прочие бродячий люд, по уши заросший мхом.

Гуляя по Москве, Клава обошла бы храм, лишь бегло глянув... В столице столь музеев, куда любознательной провинциалке хотелось заглянуть, а ещё Красная площадь и мавзолей Ленина... Но возле храма случилось чудо: из сверкающей чёрной “Волги” вышел жених, открыл другую дверцу и подал руку невесте. Клава смекнула: молодые, судя по свадебным нарядам, прикатили венчаться; и тут чудной и чудный ветер заметнул деву в храм вслед за женихом и невестой.

В дремотном миреже оплывали свечи на подсвечниках и поминальном кануне; а усталый лампадный свет мерцал на иконах, отчего святые лики теплели и оживали. Божественная литургия уже свершилась, но возле амвона и алтаря, утаённого иконостасом, ещё паслись прихожане, целовали иконы с молитвой на устах. Серый и сутулый паренёк, — похоже, пономарь — выставил посередь храма аналой, напоминающий Клаве институтскую кафедру и конторку, за которой досельные писатели сочиняли авантюрные и любовные романы; от святого же аналая пономарь раскатал ковровую дорожку, по сей мягкой, вроде хвойной тропе с минуты на минуту утицами поплывут венчаемые.

В притворе, где Клава опасливо жалась к белокаменной, сводчатой стене, молодые и поджидали батюшку: жених в чёрном костюме с искрой, в снежной рубахе с кружевным жабо... Подумалось: попович, поди, семинарист... И невеста в подвенечном платье до пят, фате и перчатках по локти... Поповна, поди, в попадьи метит... Клава удивилась: парень — девья сухота: иконоликий, синеокий и русобородый, словно Алёша Попович на коне съехал с холста, а девка — серенькая мышь, похожая на христарядницу, что слёзно канючат гроши на паперти. Ох, неровни жених и невеста; а вот она, с отрочества дебелия, столь браво бы гляделась подле жениха... Изрядно лет канет в испаханную лодками и катерами усталую реку, прежде чем Клавдия доспеет: видный паренёк избрал невзрачную деваху для смирения, чтобы жить не из похоти, а во славу Божию, как речено у святого Игнатия Богоносца, — прежде, яко брат и сестра во Христе, а потом уж супружески, да и ради заселения державы христолюбивыми чадами. Коли ангельский чин — иноческий постриг — не вместили в душу, то решили семью строить, словно домовый храм, а семья — образ сокровенного союза Христа с Церковью, где муж есмь образ Христа, а жена есмь образ Церкви. О сём и проповедовал батюшка...

Рядом с молодыми с напускной степенностью постаивали свидетели Божьего венца — парень с девкой, опоясанные белыми лентами, а за свидетелями — нарядные родичи, други и подруги венчаемых. И сродники, и ближние, и жених с невестой — все сладостно томилась в предчувствии чуда, едва сдерживая волнение... Но вот молодые уже шествовали по ковровой тропе ко святому аналою, где их поджидали икона Божией Матери со Христом, Благая Весть и две витые восковые свечи. На исходе ковровой дорожки пономарь загодя постелил сероватый льняной рушник, где гладью цветасто и любовно вышиты листья, травы и цветы, голубь с голубицей, несущие в клювах обручальное кольцо; а по краям рушника словеса: “Господи, благослови!” и “Совет да любовь!” Пред святым аналоем, — воистину, пред Царём Небесным и Царицей Небесной, — дьякон ввёл подвенечных на рушник, и началось обручение и венчание.

Клаву подивил священник, что явился из алтаря с крестом на престольным и Святым Писанием... В различных и дворянских книгах, что институтка читала запоём, попы — гривастые, аки жеребцы, от чревоугодия пузатые, похожие на самовары, от возлияний багровые, а нынче возле иконостаса махал дымящим кадиллом священник без поповского брюха, бледный, сухой и высокий.

От венчания Клаве запомнилось чудо: когда батюшка обручал и крепил узы Божиим венцом, лица жениха и невесты на её глазах посветлели и обратились в иконные лики, словно цветы, что после ночной тьмы раскрываются встреч утренняя зареву. Глядя на венчание отпахнутыми и обмершими глазами, дева запомятовала, что она — безбожница, как и вся советская молодёжь, и не то что венчаться ей, комсомолке, а и в храм-то ступать зазорно; упаси Бог, подружки увидят, растреплют по институту, а ежели комсорг прознает — прощай диплом. Обо всём на свете дева забыла, дивясь обручальному да венчальному чуду; мало того, и сама возмечтала укрыть венцом русые косы.

\* \* \*

Нынче же на своей певучей свадьбе посреди двора Щегловых Клава с потаёнными слезами поминала величавое церковное обручение и венчание, что исподтишка подсмотрела в городском храме...

Когда свадьба отпела, отпоясала, угомонилась и синеватые сумерки пали с небес на таёжное село, жених и невеста, пугаясь грядущей ночи, сидели за опустевшим столом, глядя, как жарко горят звёзды, как луна призрачной птицей уюстилась на черёмуховый куст. Клава, помянув и венчание в храме, что узрела в студенческие лета, и песню, лихо сыгранную и спетую её женихом, прошептала:

- А может, нам, Саша, обвенчаться?..
- Круг ракитова куста?
- Нет, в церкви...

Саня загорелся, и на другой день, когда в застолье сидели лишь близкие родичи, спросил о венчании у бабы Ксюши, и богомольная старуха пояснила:

- Которые невенчанные, те в блюде живут...
- Ежели расписаны, дак не в блюде, — перечил сын, без венца наплотивший трёх девчат, пятерых ребят, а посередь и Саню.

Старуха не слушала сына, толковала внуку святую правду:

— Вот оно бы, Шура, и ладно Божиим венцом-то укрыться... Дак надо же сперва креститься... А крестятся, ежели в Бога верят, в душу бессмертную, в рай и ад...

Дед Фома при царе-батюшке справно учился в церковно-приходской школе и отроком пономарил в здешнем Никольском храме, а посему церковно выразился:

— В Кормчей книге речено: "...жених и невеста да умеют исповедание веры, сиречь: Верую во единого Бога, и Молитву Господню, сие есть: Отче наш; и иже с ними Богородице Дево и десятословие..." Так вот, без веры венчаться не попрёшь, во грех будет; без веры, как поганые, — круг купальского костра...

Но протодушные Саня и Кланы верили в безбожный рай на земле; бормотуха — так дразнили радио — с пелёнок внушала, сулила малым чадушкам: "Нынешнее поколение детей будет жить при коммунизме". Оно бы и ладно пожить в земном раю, но и обвенчаться бы не худо — и красиво... со свечами так... и крепко, на всю супружескую жизнь...

\* \* \*

Катился паром с горбатой реки и на дощатой хребтине вёз Клавдию к учителю... Втемяшился же в душу... Но баба, мигая от приступающих слёз, глядела на родного мужика, что неприкаянно маячил на брошенном

берегу... Потешный, чудной, печальный... И чудилось, жалобно просит Саня: “Клава, а споём-ка нашу...” — и запекает:

*Ты лети от Волги до Урала,  
Песня журавлиная моя...*

Кажется Клавдии, тяжело Саня поёт, одышливо и срывисто, сквозь плач, а как, бывало, легко и вольно пел звёздными вечерами, бережно и нежно подыгрывая на гармошке, когда уходили в заокольную рошу, где на поляне жалась к берёзам заветная лавочка. А то, бывало, усаживались на крыльце подле раскидистой черёмухи... Что отраднее мужику, ладно и азартно откопившему на утренней и вечерней заре, в бане отпарившемуся, смывшему пот и дорожную пыль, закружиться в песне, словно на речных волнах. Подпевала Клавдия, и дивилась семейному ладу обмершая над кустом черёмухи румяная луна, что плыла от реки, где любовалась ликом в сверкающе чёрном, как дёготь, призрачном зеркале.

А бывало, на пылающем закате возвращался плотник и любовался избой: дородная, под стать Клавдии, златоцветная, глазастая, изукрашенная резными карнизами, причелинами и полотенцами; своими руками рубленая, а словно самостийно выросшая на отшибе села у заокольного березняка. А узрит Саня в распахнутом окне читающую либо мечтающую Клаву, так с рыси в галоп и ударится...

Глядя с парома на млеющую полуденную реку, устало бредущую к морю-океану, Клавдия вдруг увидела: Саня, в белой навывпуск посконной рубахе, уместившись на верхнем венце, вырубает гнёзда для стропилин, крепит стропила и обрешётку под грядущую крышу... Коли в мошне забренчит, то даже из кровельного железа... И Клавдия, вынося мужу крынку молока и горбушку ржаного хлеба, любовалась плотником: сияло солнце за его спиной, отчетливо лицо его иконно светилось.

...Чалился паром к пристани, топорно рубленной, промытой и добела выгоревшей на палящем солнце, а Клавдия, щурясь, всё вглядывалась в деревенский берег, где остался Саня... Вот потёрся паром о причал, отпустил новобранцев, гулевой люд, да и наладился обратно...

Когда паром вернулся к деревенскому берегу, Саня, — а мужик так и сидел на лысом бревне — вдруг высмотрел Клавдию, замахал руками и весело покатился к старому причалу. Встретил, принял чемодан, и пошли, милые, *солнцем палимые*...

Волок Саня чемодан от реки в крутой яр, следом по тропе, словно утица по реке, плыла Клавдия, и, глядя на потешную семейку, мужики посмеивались: “Помирились Саня с Кланей...” Бабы глаза пучили в диве, а старухи крестились: “Дай, Боже, Сане и Клане ладом жить, детей плодить...”

Вилась тропа в песчанике среди сухих трав и сиреневых цветочков чабреца, голосили чайки над речной отмелью, и Саня без усталости молотил языком, поминая книгу, что всколыхнула его душу. Клавдия с улыбкой отвечала книгочею... И вдруг Саня кинул чемодан прямо в заросли чабреца:

— Нет, ты, Клава, погоди!.. Ты погоди!.. При чём здесь Онегин?!.. Шатун же, бич, без царя в голове, в поле ветер, сзади дым... Нынче бы ему за тунеядство статью впяли. Лодырь же и без профессии... Болтается, как навоз в проруби... Не-е-е, будь моя воля, я бы Пушкину сказал: “Александр Сергеевич, ты хоть и великий лирик, а насчёт заголовка маху дал, обмишурился... Какой “Евгений Онегин”?! “Татьяна Ларина” — вот как надо было роман назвать...

— Тебя рядом не было... — засмеялась Клавдия, — подсказал бы Пушкину...

— А что, и подсказал бы... Я — из народа, а Пушкин, хоть не из народа, а любил народ. Оттого и великим-то стал, что народ полюбил, в мужика, поди, хотел обратиться, вроде Толстого... Вот и послушал бы... Слушал же Арину Родионовну, бабу деревенскую, в стихах воспевал... Помнишь, Клава, писатель в клубе выступал?..

— Махонький, вроде тебя...

— Клава... — Саня обижался, когда ему напоминали, что он приземистый. — Клава, запомни, ум от роста не зависит. Ты вот большая выросла...

— Не обижайся, Саня, я же люблю.

— Я не обижаюсь, я даже горжусь: все великие были приземисты, вроде меня — Пушкин, Лермонтов... И на лицо невзрачные.

Клава засмеялась, а Саня подхватил чемодан, и потешная парочка побрела дальше по извилистой тропе.

— Ладно, сбила меня с толку... О чём я говорил?

— Про писателя... про пушкинскую няню...

— Во, во, про писателя... Пушкину бы роман назвать “Татьяна Ларина”: Татьяна — главный герой. А что Онегин?! Баламут... Ещё и Ленского почто-то завалил... И для народа — иностранец... А Татьяна, хошь и барыня, а будто из крестьян...

— “...Но я другому отдана и буду век ему верна...” — вспомнила Клавдия со вздохом.

— Во, во...

— А давай, Саня, обвенчаемся...

Саня поставил чемодан — дело серьёзное, на ходу не обмозгуешь, надо постоять либо присесть, коли в ногах правды нету. Саня и присел на чемодан, задумался:

— А что, махнём в город и обвенчаемся... Но сперва же креститься надо... — вспомнил Саня слова бабы Ксюши и добавил в уме: “А это ж надо в Бога верить, в рай и ад... А космонавты в занебесье летали и Бога не видали...”

\* \* \*

Саня с Кланей наплодили пятерых чад, мал мала меньше, сплошной горюх, погребли дедичей и отичей, бабок и матерей и, затеяв свечи у поминального кануна, молились, чтобы Господь упокоил души усопших раб Своих; молились и о своём житье-бытье, что осело на мель: ржаво тосковал без заделья Санин бриткий плотницкий топор, а Клава в библиотеке уже год не видела зарплату, открывая читальню изредка, по привычке, и семья о семи душах спасалась от голода и хлада тем, что держала двух дойных коров, трёх бычков да трёх коней, что вольно паслись в заокольной степи. Клавдия, крестьянского кореня, но в учении и библиотечной жизни раскрестьянившись, снова принаравливалась к скотному двору и даже коров доить училась на пару с мужем... От зари до зари, не разгибая поясицы, чертомелила семья Щегловых: косили сено, садили, копали картоху, растили скот, продавали молоко да мясо попутно с картошкой и на выручку со скрипом выживали. Хотя и грех жаловаться, не голодали: мясо, масло, молоко — своё, в подполье — картошка под половицы, в погребе — бочка квашеной капусты и бочонок с брусницей и лешевой едой — с груздями и рыжиками; но мало же накормить чад, их же треба одеть, обути и выучить...

С едкими бабыми слезами, с мужичьими стенами, хохотом жёлтого дьявола рухнула народная власть, что ладилась по Божиим заповедям, но, увы, без Бога, и супостаты, ошалевшие от алчности, ограбили страну до нитки; и Россия, христарядница, из толчеи, томящей дух, ушла в храм, ибо голодным, холодным простецам дана была лишь одна утеха — вера, что по любви к Вышнему и ближнему, по скорбям Христа ради одарит Господь покаянных спасением и вечным блаженством. В церкви паслась и вся по тем временам многочисленная семья Щегловых; там и Саня с Кланей обвенчались... Оно, вроде, и запоздало, но всё же лучше, чем никогда.

Махнули бы в губернский город Иркутск и возложили бы им брачные венцы аж в Знаменском соборе, где владыка служит, но ехать далеко, да и автобусные билеты кусаются... Обручились и обвенчались Щегловы в сосновой Никольской церквушке, кою молодой батюшка и Саня с напарником срубили за два лета, а владыка освятил в честь Николы Угодника. Батюшка же уговорил Саню послужить сперва алтарником, а вскоре и пономарём...



Помните, сперва оглядели старый храм, где давно уж сбили крест, где вокруг ржавого купола слезливо жались друг к другу тощие берёзки и осинки, где кирпичные стены уже дышали на ладан, и поняли: не осилить. И тогда решили рубить деревянную церковь на скалистом речном берегу, для чего и пошли по миру с протянутой рукой...

В девьи лета вещим ветром занесённая в городской храм, созерцая обручение и венчание, Клава смутно, в подсознании догадывалась лишь об избранных смыслах таинства, очевидных и ясных, а уж что из божественных книг звучало под куполом, студентка слыхом не слыхивала, ведом не ведала, редкие слова угадывая в церковнославянской вязи. Но таинство даже не запомнилось — втемяшилось в память, ибо ещё не случилось в Клавиной заплечной жизни впечатления ярче... ярче лишь солнце... И пала на душу блажь повенчаться с грядущим мужем, лишь бы походил на высокого, русобородого жениха, главу коего на её глазах Господь украсил золотым венцом.

\* \* \*

Увы, не надёбал Клаву на печи русобородый, высокий, синеокий; судьба свела и свила с плотником Щегловым, похожим на ершистого подростка; и метельным закатом столетия, будучи уже чадородливой бабой, Клавдия обручилась и обвенчалась в сельской церкви, а затем, посылно воцерковленная, осмыслила чин.

Жених и невеста — так смеха ради Саня с Кланей величали себя... Накануне исповедались и причастились на Божественной литургии, а после полудня ласково завернули в рушник, расшитый алыми райскими птицами, икону Божией Матери со Спасом, что досталась Щегловым от бабы Ксюши, Царствие ей Небесное. А потом стеснительно наряжались для обручения и венчания...

Клавдия — лебедь-птица, вывела детей вереницу, пятерых погодок, и нынче с улыбкой вспоминала, как в избе жениха и невесту облепили ребятишки; дивились, глядя, как родители, нарядившись, надушившись, встали перед шифоньерным зеркалом: отец — в чёрном пиджаке поверх белой сорочки с коробисто торчащим накрахмаленным воротничком, невеста — в светло-зелёном платье с алой косынкой на шее и с белой — поверх кос, уложенных старомодным венком. Клавдия, оглядев в зеркале себя, похожую на копну свежескошенного сена, и богоданного Саню, ростом ей по плечи, засмеялась: привиделась ей старинная картина, где Пушкин с Гончаровой вздымаются по ковровой лестнице и так же отражаются в зеркале. Хотя против Гончаровой Клавдия баба бабой, да и Саня на Пушкина мало похож: Пушкин — барин, а Саня смахивал на малорослого, заполошного, худородного мужичка.

У церкви, золотисто сияющей среди сосен и лиственей, жениха и невесту поджидали други, подруги и дьякон, худенький, вихрастый паренёк, который принял от молодых икону бабы Ксюши, бережно завернутую в рушник, и прямо на паперти бойко растолковал обручальный и венчальный чин, а затем и ввёл во храм Божий. И тут же явился отец Евгений — медвежалый, смуглый мужик в чёрной скуфейке, похожей на богатырский шлем, в чёрном подряснике, на чреслах — широкий ремень с медной бляхой; шёл, смачно скрипя башмаками, шёл раскочист, словно борец по ковру, — воистину, воин Христов, духовник воителей, окормлявший горемычных русских солдат на Кавказе. Батюшка и возглашал при богослужении, как полковой священник на плацу: от гласа иерейского лампадный огонёк колыхался, яко от страха Божия; при эдаком иерейском голошении поневоле вонмешь горним глаголам.

Коли Саня с Кланей в сельсовете расписаны, коли изрядно отжили и чад нажили, то и обвенчаться бы им без обручения, но Саня, церковный пономарь и плотник, срубивший храм с батюшкой и прихожанами, возжелал, чтобы полным чином. Абы в душах жарко и ярко светилась любовь к Вышнему и ближнему, батюшка, крестообразно и трижды благословив, вручил Сане и Клане горящие свечи, а дьякон, сухой, но горластый паренёк, зычно спросил:

— Благослови, Владыко!..

Батюшка сотворил молитвенный зачин:

— Благословен Бог наш всегда, ныне и присно и во веки веков...

И взмолился дьякон в мирной ектенье:

— Миром Господу помолимся... О рабе Божиим Александре и рабе Божией Клавдии, ныне обручающихся друг другу, и о спасении их Господу помолимся...

И незримый хор всякий раз голосил с клироса, устроенного на балконе, словно воспевали ангелы под куполом:

— Господи, помилуй!..

— О еже податися им чадом в прятие рода, и всем яже ко спасению прошением, Господу помолимся...

“Оно, может, с чадами и погодить?.. — спросила Клавдия, глядя на лик Матери Божией. — Этих бы пятерых одеть и обуть, выучить да в люди вывести... — невеста и себе боялась сознаться, что и полгода не канет, как и шестой попросится в мир. — Время-то какое: не живём, а со слезами выживаем. Хотя и грех плакаться... Опять же, и ребятишки в радость...” Легки на помине, тут же привиделись и детишки: белобрысые, стриженные “под горшок”, молятся возле алтаря, склонив головушки, словно подсолнушки; а неподалёку, бывало, крестят лбы и пятеро иерейских чад, на обличку, правда, смуглые, вроде здешних гуранов\*.

Когда батюшка пел о чадородии, Саня вздохнул: бывшие напарники, плотники и столяры, при встрече посмеивались: “Эдак ты, паря, и колхоз настрогаешь...” И тут же, некстати разулыбавшись, Саня помянул байку, что поведал батюшка. Некий сельский житель пришёл к приходскому священнику и плачется: “Отче, пять лет с женой живу, и ни плода, ни живота...” “Не унывай, чадо, ибо унынье есть грех, — утешил батюшка. — А позжай-ка, овче, в город да в храме святого Сергия Радонежского поставь самую большую свечу перед образом святых Кирилла и Марии Радонежских, да и помолись им о даровании чад”. И так случилось, что батюшку перевели в другой приход, и, вернувшись через десять лет, он услышал, что у того мужа уже девять детей. Заинтересовался батюшка, и когда пришёл в дом, где обитала многочисленная семья, то старший сын известил: “Папки и мамки дома нету...” “И где же они?..” — “Мамка в больнице, десятого рождает, а отец поехал в городскую церковь свечу задувать...”

А дьякон и дальше пел ектенью, и после всякого прошения взывал к Богу: “Господу помолимся...” — и венчаемые в душе вторили ему: “Господу помолимся...”

— О еже низпослатися им любви совершенней, мирней, и помощи... О еже сохранитися им в единомыслии и твердей вере... О еже благословитися им в непорочном жительстве... Яко да Господь Бог наш дарует им брак чистен и ложе нескверное...

После дьякона и батюшка возгласил молитву:

— Боже вечный... благословивый Исаака и Ревекку... Сам благослови и рабы Твоя сия, Александра и Клавдию, наставляя на всякое дело благое!.. Господи Боже наш, от язык предобручивый Церковь девию чистую, благослови обручение сие, и соедини, и сохрани рабы Твоя сия в мире и единомыслии...

Меж тем дьякон взошёл в алтарь и на серебрястом блюде принёс обручальные кольца, что досель обретали Божию благодать на святом престоле. По чину жениху бы кольцо солнечно золотое: муж для жены — солнце, а невесте бы кольцо серебристо лунное: жена для мужа — луна, но золотые и серебряные кольца Щегловым не по карману, где блоха мечется на аркане, а посему в ход пошли кольца самодельные, вырезанные из меди, но мелом и голяшкой от валенка так надраенные Саней, что от золотых не отличишь.

Батюшка кольцом трижды запечатлел крест на Санином лбу и огласил:

— Обручается раб Божий Александр рабе Божией Клавдии, во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа, аминь!

\* Гураны — русские забайкальцы и прибайкальцы, в некоем колене смешанные с бурятами либо тунгусами.

После чего и околыцевал жениха, а затем кольцом трижды начертал крест и на лбу побледневшей невесты:

— Обручается раба Божия Клавдия рабу Божию Александру...

Возложив перстни на десницы обручающихся, трижды их поменяв с руки жениха на руку невесты и наоборот, священник напомнил реченное в Святом Писании:

— Господи Боже наш, отроку патриарха Авраама сшествовавший в средоречии, посылая увестити господину его Исааку жену, и ходатайством водношения обручити Ревекку открывый. Сам благослови обручение рабов Твоих, сего Александра и сея Клавдию, и утверди еже у них глаголанное слово: утверди аже от Тебе святым соединением... Перстнем дадеса власть Иосифу во Египте; перстнем прославися Даниил во стране Вавилонстей; перстнем явися истина Фамары; перстнем Отец наш Небесный щедр быст на Сына Своего: дадите бо, глаголет, перстень на десницу Его, и заклавшя тельца упитаннаго, ядше возвеселимся...

Саня и Кланы враз, словно единой головой, вспомнили о том, что сосед — у Сани рука не подымалась на доморощенную овцу — заколол тельца упитанного, и сейчас свежена, сваренная в чугунном казане, томится в русской печи; всем гостям хватит, когда под черёмухой накроют стол, когда зарыдает и заликует Санина гармонь.

А пока дьякон возглашал ектенью: молился за Великого Господина и отца нашего Святейшего Патриарха Алексия II, за богохранимую страну Российскую, за власти и воинство ея, за всех христиан и...

— Ещё молимся о рабах Божих Александра и Клавдию, обручающихся друг другу...

Клирошане трижды поклонно отголосили:

— Господи, помилуй!..

\* \* \*

Мирной ектеньёй скрепилось обручение, и грянуло венчание: с горящими свечами замерли жених с невестой у святого аналая, где батюшка, бряцающая кадильницей, откуда дымом клубился сладчайший ладан, пел псалом царя Давида, а клирошане, припеваючи, славили Бога:

— Блажени вси боящися Господа...

— Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе..

Из Давидова псалма в разум невесты, а по жизни уже детной бабы запали царские словеса: “Жена твоя яко лоза плодovitа, во странах дому твоего... Сынове твои яко новосаждения маслична, окрест трапезы твоея...” Душу бывлой книгочеи и книгохранительницы до нервной дрожи потрясала горняя мудрость божественных творений; мало того, Клавдию умиляли до слёз даже вычитанные или услышанные на литургии церковнославянские местоимения и союзные слова, вроде *аз, емь, паче, паки, наипаче, иже, еже, еси, аще, се, несть, зело, лепо, мя...*; и в речи бывшего советского библиотекаря рухнула словесная дамба, и в речь вольно влились ходовые библейские обороты: вроде *притча во языцех, за други своя, на сон грядущим, ничтоже сумняшеса, глас вопиющего в пустыне, возвращается ветер на круги своя, метать бисер перед свиньями, устами младенца глаголет истина...* Клавдию дивило, что у Сани, хотя и случалось, прислуживал батюшке в алтаре, речь как была деревенской, так деревенской и осталась; и Клавдию иногда потешало, как муж деревенским поговором толковал про любовь Онегина к Татьяне, а ныне толкует Библию.

Сотрясением души и рассудка стало для Сани Святое Благовествование от Марка, где евангелист глаголет: “Когда наступила суббота, Он начал учить в синагоге; и многие слышавшие с изумлением говорили: откуда у Него это? что за премудрость дана Ему, и как такие чудеса совершаются руками Его? Не плотник ли Он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли, между нами, Его сестры? И соблазнялись о Нем. Иисус же сказал им: не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и у сродников, и в доме своем”. Возликовал пожизненный плотник,

когда уяснил, что и сам Иисус Христос в земном житии тоже был плотник; и возмнил мужик: де и ремесло плотническое свято, святей хлебоборобного. Вела Клавдия: “Жена да убоится мужа”, — но перечила Сане: мол, Христос речет крестьянским говором...

Клавдия по юности, подвывая, читала Пушкина и Тютчева, Ахматову и Цветаеву, теперь привадила вслух, с былым подвывом читать псалмы, восхищаясь живописными образами; а иногда, слыша незримые звончатые гусли, пела, услаждаясь царской речью: “Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых и на пути грешных не ста, и на седалищи губителей не седе, но в законе Господни воля его, и в законе Его поучится день и ночь. И будет яко древо, насажденное при исходящих вод, еже плод свой даст во время свое, и лист его не отпадет, и вся, елика аще творит, успеет. Не тако нечестивии, не тако, но яко прах, егоже возметавет ветер от лица земли. Сего ради не воскреснут нечестивии на суд, ниже грешницы в совет праведных. Яко весть Господь путь праведных, и путь нечестивых погибнет...”

Из женщины с вузовским дипломом обратившись в деревенскую бабу — нет худа без добра! — Клавдия и Христа в Его земном житии причисляла к словию крестьян... Правда, Саня, потомственный плотник, горделиво уточнял: из ремесленных крестьян, из плотников... А крестьяне, как она вычитала у сельского писателя, будучи “от креста” и “Христа”, выражали земные и небесные мысли не мертвецки учёным языком, но образным и притчевым, а образы, как Иисус Христос в поучениях и заповедях, брали из крестьянской и природной жизни: “Уже бо и секира при корени древа лежит: всяко древо, еже не творит плода добра, посекаемо бывает и в огонь вметаемо...”; “Его же лопата в руце Его, и отеребит гумно Свое, и соберет пшеницу Свою в житницу, плевелы же сожжет огнем неугасающим”; “Се изыде сеятель, да сеет... И сеющу, однаво падоша при пути, и приидоша птицы и позобаша ея; другая же падоша на каменных, иде же не имаху земли многи, и абие прозябаша, не имаху глубины земли. Солнце же всзиявша, привянувши: и не имаху корения, изсохша. Другая же падоша в тернии, и възде терние, и подави их. Другая же падоша на земли доброй, и даяху плод...”

Вдохновенно, прихватывая ночи, отрывая очередное чадо от молочных сосцов, Клавдия лет за пять осилила Псалтырь, а ранее — Святое Писание, и в их горнем сиянии помещичья литература, которой служила верно и азартно, вдруг показалась пустобайной, а то и порочной, воспевающей страсти земные, что даны князем тьмы на погибель душ. Уныло оглядывая книжные полки в родной библиотеке, Клавдия ныне жалела лес, что нещадно пластали на книжную бумагу, но для души всё же оставила книги избранных писателей, про кои могла воскликнуть по-пушкински: “Здесь русский дух, здесь Русью пахнет...”, “...и милость к падшим призывал...”, и “Веленью Божию, о муза, будь послушна!...” К сему книгочейная страсть, а с нею и былые туманные мечтания сгнули в истовой материнской жалости к чадам, ибо жалью жив человек...

Когда две глухие двери, сшитые из гладко струганных сосновых досок, утаивали детские голоса, когда ночной тишь опускались с небес сокровенные вечера, когда слетала с души пыль, скопленная за день, и душа посвячивала ласково и тихо, Саня с Кланей сумерничали в горнице; посиживали рядом, говорили ладом, судили-рядили о семейных заботах-хлопотах, и всё впереди виделось ясно и заманчиво.

Вот и нынче, утомонив и уложив архаровцев, так Саня обзывал старших ребят, что вольничали, сморив меньших сказками про Ванюшу-дурачка и заунывными песнями, Клавдия погасила свет в одной и другой ребячьей каморе и на цыпочках прошла в горницу. Саня с книжкой посиживал за круглым столом, крытым серой льняной скатертью, над книгочем низко нависал розовый абажур с кистями; но лишь Клавдия появилась в горнице, Саня тут же, бросив книжку, обнял жену, тесня её к обширной супружеской койке с резными спинками.

— Успокойся, Саня. Давай почитаем...

Саня, с нарочитой печалью вздохнув, упал на стул и опять открыл книгу, а читал мужик книгу не простую — Ветхий Завет, чтобы вызнать про

христиан, что праведно жили и до Христа. Клавдия принесла из кухни творожные и брусничные шаньги и курильский чай — жили скудно: пили травяные чаи, ели всё, что рождала огородина и окрестная тайга; и под чай слово за слово размечтались: вроде махнут в озёрное село к родителям Клавдии, сядут ребятишек на руки деду с бабушкой, отпихнут лёгкую кедровую лодку от мостков, с которых бабы воду берут, угребут на другой берег озера, потом через камышовый пролив войдут в соседнее озеро, пересекут на гребях и разобьют табор на диком берегу, где под таёжным хребтом пряталась родная деревушка Полоротовых, где нынче лишь бугорки, заросшие дикой малиной. И, словно новозелены в медовый месяц, порывчат с тремя ночевыми, а перво-наперво Саня — плотник же! — из лиственничных жердей, прошлым летом ошкуренных и уложенных на высокие сушила, срубил поклонный крест, вкопает на крутом и голом яру, обложив валунами, дабы издали зрели рыбаки: се жили люди крещёные, жили по-божески, по-русски и улеглись навечно: *упокой, Господи, души усопших раб Твоих, и всех православных христиан, и прости им вся согрешения вольная и невольная, и даруй им Царствие Небесное.*

Раньше Саня с Кланей стеснялась вгляд бормотать Боговы слова; молились молча, наособицу и повинными взглядами каялись друг перед другом и прощали, и потаёнными вздохами благодарили Спаса, что не развёл их памятным утром, когда плыл паром по реке миражным облаком, и “журавлиная песнь” кружилась над речными серебристыми струями.

А венчание меж тем продолжалось, и батюшка, семинарский отличник, помнящий назубок изрядно из Писания и Предания, лобомудрый и краснопевный, ведаю, что Клавдия начитанна, а Саня, пономарь, уже вдосталь наслушался иерейских проповедей, поучал не столь жениха и невесту, сколь свидетелей таинства, дабы благодать таинства излилась елеем и на всех боголюбцев, а их собралось изрядно — в кои-то веки в селе венчание.

— Венчание есть христианское таинство, в коем жених и невеста пред Богом дают посул о супружеской верности, и венец их Богом благословляется... “Любовь супружеская есть любовь, Богом благословенная”, — поучал святитель Феофан Затворник. Дабы ваш союз был достойным отображением таинственного союза Иисуса Христа с Церковью, вы, Александр и Клавдия, ныне обетающие венец, должны плоть подчинить духу... Венцы брачные — се вериги подвижничества, венцы победы над чувственностью... Любовь... Нынешняя популярная культура — литература, кино, телешоу, — что воистину от князя тьмы и смерти, до поганого блуда опустила понятие любви, а Любовь — имя Бога... С крещением и облачением Древней Руси во Христа русские уже не поклонялись блудным бесам, но осознали Любовь, яко имя Бога — *Бог-Любовь, Бог-Слово*, — и образ Бога на земле, ибо в христианском воззрении любовь — любовь к Богу и ближнему, и ничто иное. Бог сотворил всё по любви, ибо Сам Бог есть Любовь. “Где любовь, там Бог, там всё добре”, — поучал святой праведный Иоанн Кронштадтский. А святой лобомудр Иоанн Лествичник так мыслил о любви: “Любовь — дар не мира сего, ибо это имя Самого Бога. Поэтому она неизреченна”. Божественно воспел любовь святой апостол Павел: “*Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я — медь звящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и гору переставлять, а не имею любви, — то я ничто. И если я раздам всё имение моё и отдам тело моё на сожжение, а любви не имею, — нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится... Любовь никогда не перестает, хотя пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится... А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них больше*”. У православных, принявших Божий венец, любовь в брачных отношениях — любовь и небесная, и земная, и брак был стойким и счастливым, если в браке полубовно уживались три начала: православно-христианское, домостроительное и чувственное. Се значит, что для жены богоданный муж, Богом данный, есть и возлюбленный брат во Христе, и отец семейства, а уж потом мужчина во плоти. Для мужа богоданная жена, Богом данная, есть и возлюбленная сестра во Христе, и мать семейства, а уж потом женщина во плоти. Брак, венчанный на небесах Господом Богом,

был радостен и крепок, коль зиждился на крепких братско-сестринских отношениях во Христе, если жена попалась домовитая, смиренная, живущая по заповедям Христовым, во страхе Божиим, если муж — работающий, яснодушный во Господе, жалостливый, но и кремнистый духом православным, за ком жена, яко за каменной стеной — *за мужика завалось, и беса не боюсь*. Божественный брак в православной семье не шатался и без чувственного начала, и даже без отцовско-материнского, но крепко держался на одной лишь братско-сестринской любви во Христе. И супруги, помяная свои отношения, не говорили: любил и любила, а *жалел и жалела*... Традиционно русские принимали *любовь* в смысле *любовь к Богу и ближнему*, а у супругов друг для друга была припасена *жаль*, вопреки жестоковыйным романтикам, изъеденным мирской гордыней, полагающим, что жалость унижительна. После любви к Богу жалость к ближнему превышает всех иных душевных свойств... Недаром и поговорка в русском народе жила: "*Человек жалью живёт*..." Муж перед Богом ответит и за свои грехи, и за грехи жены, но за сие, как говорил апостол Павел ефесянам, "...Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос Глава Церкви, и Он же Спаситель Тела (*Тела Церкви*). Но как Церковь повинуетея Христу, так и жёны своим мужьям во всём".

Изречая апостольские поучения, нерей, прищуристо глядя в Санину душу, спросил:

— Имаши ли, Александр, произволение благое и непринужденное, и крепкую мысль пояти себе в жену сию Клавдию, юже zde пред тобою видиши?

Саня, хотя и от случая к случаю пономарил в храме, когда плотницкий топор бездельничал на верстаке, хотя кое-что и смекал в Божественной литургии и таинствах, ныне вдруг замешкался и лишь кивнул головой. И тут же услышал грозное повеление отца Евгения:

— Глаголь, Саня: "Имам, честный отче!"

— Имам, имам, честный отче.

— Не обещахся ли еси иной невесте? Реки, Саня: "Не обещахся, честный отче".

— Не обещахся, честный отче.

Какие обещания?! Помнится, Саня горбатился на проклятого буржуя, пахал, — прости Господи!.. — на воровском лесоповале и, бывало, уже на третий день так затоскует по Клавдии, что бензопила из рук валится, кус хлеба, словно ворованный, попереёк горла топорщится. Хотя, что уж греха таить, случалось, и любовался на бравых девок, и даже блудные помыслы, случалось, палили грешную душу, но Саня тут же воображал Клавдию, что в бабах пуще расцвела, тем и спасался; но ежели и Клавдия не выручала из беды, настойчиво шептал: "Господи, помилуй!.. Господи, помилуй!.. Господи, помилуй!.." — и шептал так плотно, что меж словами и малого зазора не оставалось, куда бы скользнул помысел; и завершал мольбу лишь тогда, когда гасло любово-страстное пламя и молитвенный ветер развеивал жаркий пепел. Но, бывало, прибежит с лесоповала, стиснет Клавдию в объятьях, шепчет: мол, так истосковался по тебе, любимая, что и белый свет не мил, а жена возьми да и спроси: "Ты, Саня, по мне истосковался? или... Ты кого любишь-то, скажи, меня или мои бока?.." Саня охолонётся, отпрянет, почесет в затылке: "Я, Кланя, люблю твою ласковую душу... — Кланя благодарно улыбнётся, а Саня хитро добавит: — С боками вместе..."

Воззрившись на невесту, отец Евгений спросил и её, глаголя:

— Имаши ли произволение благое и непринужденное, и твердую мысль пояти себе в мужа сего Александра, его же пред тобою zde видиши?

Клавдия с улыбкой глянула на Саню — словно знойным полуднем холодный дождь сквозь солнце окатил созревшего мужика — и кивнула:

— Имам, честный отче.

— Не обещахся ли еси иному мужу?

— Не обещахся, честный отче.

Кому обещаться, коли, не успев оглянуться, обросла ребятишками и к мужу приросла?! По молодости, вскоре после женитьбы, влюбилась в учителя, так теперь стыдно и помянуть.

В ектенье великой, что последовала, дякон помолится за венчаемых:

— О рабах Божиих, Александре и Клавдии, ныне сочетавающихся друг другу в брака общение, и о спасении их Господу помолимся.

— Господи, помилуй!.. — воспели ангелы трубящие.

— О еже благословитися браку сему, якоже в Кане Галилейстей, Господу помолимся...

На брачном пиру в Кане Галилейской, помянулось Сане читанное, кончилось веселящее душу питье, и жених с невестой ожидали позора; тогда Иисус Христос обратил в дивное вино шесть каменных водонос, полных воды, и гость удивлённо сказал жениху: “Всяк человек прежде доброе вино полагает, а когда ушыются, тогда худшее; ты же соблюл доброе вино доселе...” Пир в Кане Галилейской Сане явился в память потому, что венчанных ожидало свадебное застолье, а самогона-то всего литр выгнал... Саня, пивший редко, но метко, — случалось, и лёжа покачивало, — пивший и с ненавистью к пойлу, а во хмелю дурной, дал церковный обет, зарёкся (пока на год) даже в рот спиртное не брать, и дружков подбивал к зароку. “В Кане-то, поди, пили вино виноградное, сок, едва забродивший, — прикинул Саня, — а у нас бывает... бывает, чего уж греха таить... бывает самогона ужрется и, как собаки, раздерутся...” К церковному обету Саню толкнул стыд: совестно было... — убил бы себя, гада!.. — когда пьяненький видел испуганные ребячьи глаза, слёзный взгляд Клавдии и скорбные очи иконных ликов...

А батюшка меж тем усердно молился за венчаемых; Клавдия, коя от церковнославянских глаголов могла умилённо прослезиться, слушала молитву, от услады опушая глаза ковыльными ресницами.

— Боже Пречистый, и всея твари Содетелю, ребро праотца Адама за Твое человеколюбие в жену преобразивый и благословивый я, и рекий: раститесь и множитесь, и обладайте землею, и обою ею един уд показавый сопряжением. Сего бо ради оставит человек отца своего и мать, и прилепится жене своей, и буде та два в плоть едину, и яже Бог спряже, человек да не разлучает... Сам, Владыко Пресвятый, прими моление нас, рабов Твоих, яко же тамо, изде пришед невидимым Твоим предстательством, благослови брак сей и подаждь рабом Твоим сим...

Батюшка, давнишний друг Щегловых, едва не опростоволосился, едва не поименовал жениха и невесту, как обвыклось село: Саня и Кланя, но спохватился и рек:

— ...и подаждь рабом Твоим сим, Александру и Клавдии, живот мирен, долгоденствие, целомудрие, друг ко другу любовь в союзе мира, семя долгоденственное, о чадах благодать, неувядаемый славы венец... Сподоби я видети чада чадов, ложе ею ненаветно соблюди, и даждь има отросы Небесныя свыше, и от тука земнаго; исполни дома их пшеницы, вина и елеа, и всякия благостыни... Помяни, Господи Боже наш, раба Твоего Александра и рабу Твою Клавдию и благослови я. Даждь им плод чрева, доброчадие, единомыслие душ и телес; возвыси я яко кедр ливанския, яко лозу благородную...

Клавдии польстило, что брак её с рабом Божиим Саней в молитвословии сопоставили со святыми браками Авраама и Сарры, Исаака и Ревекки, Иосифа и Осенефы, Иакима и Анны — родителей Царицы Небесной, Захария и Елисаветы, родивших святого Иоанна Предтечу. Если не по грехам нашим милостив Господь, — загадала Клавдия, — и она сподобится Царствия Небесного, то, может, среди вечно зелёных райских садов, среди радужных райских цветов и сладкозвучных райских птиц встретится она со святыми жёнами, поговорит... И особо хотелось свидеться с Елизаветой и Анной...

Позади мирная ектенья и молитвы иерейские о даровании Сане и Клане целомудренной любви, чадородия, земного плодородия, пшеницы, вина и елеа. О пшенице и вине понятно, а для чего в хозяйстве елей, венчаемые не доспели... А уж батюшка, принимая от дякона золотёные венцы, поочерёдно, крестообразно осеняя ими жениха и невесту, дал поцеловать венцы и возложил их на главы венчаемых. Саня с Кланей, украшенные сияющие венцами, почувяли себя царём и царицей, что перебиваются с хлеба на квас.

— Венчаеся раб Божий Александр рабе Божией Клавдии во имя Отца и Сына, и Святого Духа, аминь!.. Венчаеся раба Божия Клавдия рабу Божию

Александрю во имя Отца и Сына, и Святого Духа, аминь!.. Господи Боже наш, славою и честью венчай я!..

Позже, когда Саня, сложив руки для благословения, подошёл к отцу Евгению, батюшка и пояснил *венцы*:

— Возложением царских венцов возгласил я вам, чада, честь и славу человеку, яко царю творения; и вы, брат и сестра, отныне и довеку царь и царица. Но венцы сии могут быть и мученическими венцами; а перво-наперво, се венцы Царствия Божиего, а узкую и тернистую тропу в рай откроет вам ваша богоугодная и благочестивая семейная жизнь!..

И вновь молитвы за жениха и невесту, сугубая ектенья, и, наконец, дьякон принёс из алтаря медную чашу с церковным кагором. В память о чуде в Кане Галилейской, когда Господь обратил воду в вино, и во имя общей судьбы с общими радостями и скорбями трижды пригубили Саня с Кланей из общей чаши. После сего батюшка соединил правые руки жениха и невесты, укрыл сцепленные персты епитрахилью и под тропари, ангельски ликующие под куполом, а словно в поднебесье, трижды обвёл новобрачных вокруг святого аналая. Сняв венцы с мужа и жены, благопожелал:

— Возвеличися женише якоже Авраам, и благословися якоже Исаак, и умножися якоже Иаков, ходяй в мире, и делаяй в правде заповеди Божия!.. И ты, невесто, возвеличися якоже Сарра, и возвеселися якоже Ревекка, и умножися якоже Рахиль. Веселящихся о своем муже, хранящи пределы закона: зане тако благоволи Бог!..

Помолившись, отец Евгений поочерёдно обнял венчаных:

— Вы, Саня и Кланя, уж десять лет пьёте из единой чаши, полной радостей и горестей, отныне же Царь Небесный и Царица Небесная стали попечителями вашего супружества, и по любви вашей к Вышнему и ближнему, по смирению и молитвенному покаянию, по упованию на Бога, на Матерь Божию и всех святых испишутся вам блага земные и небесные.

После сего батюшка подвёл новобрачных к царским вратам, где жених поцеловал икону Спасителя, а невеста — образ Божьей Матери; затем Саня и Кланя приложились к иконам святых Космы и Дамиана, и мучеников Гурья, Самона и Авива, святых благоверных князя Петра, в иночестве Давида, и княгини Февронии, в иночестве Евфросинии, муромских чудотворцев. А напоследок облобызали иконы небесных покровителей, скорых помощников и молитвенников о их душах: Саня — образ святого благоверного великого князя Александра Невского, а Кланя — образ святой Клавдии Римской. Поначалу Щеглова стеснялась прилюдно целовать иконы, падать ниц пред святыми ликами; батюшка углядел и в проповеди сказал: “Если мы будем стесняться любви к Богу, то и Бог постесняется нас любить!..”

— Иже в Кане Галилейстей, — на прощание прочёл батюшка отпуст, — пришествием Своим честен брак показавый, Христос, истинный Бог наш, молитвами Пречистыя Своея Матере, святых славных и всехвальных Апостол, святых боговенчаных царей и равноапостолов, Константина и Елены, святаго великомученика Прокопия, и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человеколюбец!..

От соснового Никольского храма до избы рукой подать, и Саня с Кланей шествовали, как и десять лет назад в сельсовет, родной приречной улицей; шли мимо изветшавших изб, стигнувших в черёмуховой чащобе, мимо новодельных теремов, где за железными заборами таились здешние торгаши, где гремели цепями и хрипло лаяли псы; шли, обходя лужи и свежо парящий коровий навоз, шли, чинно клянясь старикам и старухам, что на лавочках грели зябнущие кости, копили тепло на зиму и прищуристо всматривались в бабье лето, журавлиным клином, с печальным курлыканием уплывающее в небеса. Саня вспомнил: и лет десять назад мелко растекалось по земле томное бабье лето, прощались с Русью журавли, а он подволакивал охромевшую Клаву, обмирая от счастья. Так добрались и до сельсовета, где председатель с чапаевскими пламенными усами между шутками-прибаутками бракосочетал их; а теперь добрались и до храма Божия, обрели венцы Господни. Нынче после заутрени, после бракосочетания и венчания журавлиная песнь для Сани и Кланьи — *песнь херувимская*, что ласково и властно влекла их души в ясно синие, осенние небеса.